

Органист из Пониклы. Генрик Сенкевич

Снег был сухой, скрипучий и не очень глубокий, а у Кленя были длинные ноги, и он быстро шагал по дороге из Заграбья в Пониклу. Он прибавлял шагу еще потому, что видно было - мороз будет крепкий, а одет он был плохо: на нем был кургузый сюртук, поверх него совсем куцый полушубок, на ногах черные брюки и тонкие заплатанные сапоги. Кроме того, у него был гобой в руках, подбитая ветром шапка на голове, в желудке - две рюмочки араку, а в сердце радость, а в душе веские для этой радости причины. Только сегодня утром он подписал контракт с каноником Краевским на должность органиста в Поникле. Он играл лучше всех окрестных органистов, но до сего времени вынужден был, как цыган, таскаться из корчмы в корчму, со свадьбы на свадьбу, с ярмарки на ярмарку, с одного церковного праздника на другой, добывая себе кусок хлеба игрой на гобое или на органе. Теперь он, наконец, поселится в Поникле и заживет оседло, под собственной крышей. Дом, сад, сто пятьдесят рублей жалованья в год, кой-какие другие заработки, положение лица почти духовного звания, труд во славу божию - кому же все это не внушит уважения? Еще недавно каждый Мацек в Заграбье или в Поникле, который сидел на нескольких моргах, считал пана Кленя человеком пустым, - теперь люди будут перед ним шапку снимать. Органист - да еще в таком громадном приходе - это не последняя спица в колеснице!

Давно уже Клень мечтал об этой должности, но пока был жив старый Мельницкий нечего было и думать ее занять. Пальцы у старика не сгибались, и играл он плохо, но каноник ни за что не уволил бы его, потому что они прожили вместе двадцать лет. Но когда Лыска, лошадь каноника, так сильно лягнула старика, что он через три дня помер, Клень без колебаний попросил принять его на место Мельницкого, а каноник без колебаний принял Кленя, потому что лучшего органиста не сыскать было и в городе.

Трудно сказать, откуда взялась у Кленя такая "ловкость" на гобое, органе и других инструментах, на которых он играл. Он не научился этому от отца, потому что отец его, родом из Заграбья, в молодости служил в солдатах, но не был музыкантом; на старости лет он вил веревки из конопли и играл только на трубке, которая всегда торчала у него в усах.

А молодой Клень с детских лет только и прислушивался, не играют ли где-нибудь? Еще подростком он ходил в Пониклу "каликовать"* Мельницкому, а тот, видя в мальчике такую любовь к музыке, стал учить его на органе. Через три года Клень уже играл лучше Мельницкого. Потом в Заграбье пришли однажды какие-то музыканты, и он убежал с ними. С этой компанией он бродил много лет, играл неведомо где: на ярмарках, на свадьбах и по костелам. Только когда товарищи его разбрелись кто куда или перемерли, он возвратился в Заграбье, исхудалый и бедный, как церковная мышь. Жил он как птица небесная и все играл, то для людей, то для бога. Люди считали его "никчемным", но все же его знали во всей округе. В Заграбье и в Поникле о нем говорили: "Клень это Клень! Но как начнет играть, то и господу богу угодно, а у человека аж сердце замрет".

* Раздувать мехи органа

Иные даже спрашивали его: "Да побойся ты бога, пан Клень! Что за лихо в тебе сидит?"

И действительно, сидело какое-то лихо в этом тощем теле на длинных ногах. Еще при жизни Мельницкого, заменяя его в дни двенадцатых и храмовых праздников, Клень иногда забывался у органа. Случалось это чаще всего посредине литургии, когда люди в костеле целиком ушли уже в молитву, когда дым каминов наполнял костел, когда все кругом пело, когда звон колоколов и колокольчиков, запах мирры, янтаря и благовонных трав, мерцание свечей и блеск дароносицы так подымали благочестие в душах молящихся, что, казалось, весь костел на крыльях уносится ввысь. Каноник то поднимал, то опускал дароносицу и в экстазе закрывал глаза. А Клень наверху тоже закрывал глаза, и ему казалось, что орган играет сам, что голоса оловянных труб вздымаются, как волны, текут, как реки, плещут, как водопады, струятся, как родники, звенят, как дождевые капли. Звуки органа наполняли весь костел. Они носились под сводами, и перед алтарем, и в клубах ладана, и в солнечном свете, они трепетали в душах людских, одни - как грозные и величественные громы, другие - как поющие человеческие голоса, третьи - сладостные, мелко рассыпающиеся, как бисер или соловьиные трели. И пан Клень сходил после службы с хоров, опьяненный, 9 блестящими, как после сна, глазами, - но он был человек простой, и он думал и говорил только, что очень устал. Каноник в ризнице дарил несколько монет его руке, несколько слов похвалы его слуху, а он проходил через толпу, стоящую перед костелом, и люди кланялись ему и восхищались им безмерно, несмотря на то, что он был беден и снимал угол в Заграбье. Но пан Клень ходил перед костелом не для того, чтобы услышать: "Эй, смотрите, вон Клень идет". Нет, он ходил здесь, чтобы увидеть ту, которая была ему всего милей в Заграбье, в Поникле и в целом свете, - чтобы увидеть pannу Ольку, дочку кирпичника из Заграбья. Впилась она в его сердце, как клещ, и своими синими глазами, и ясным лицом своим, и вишневыми губами.

Сам Клень в те редкие минуты, когда он трезво смотрел на жизнь и понимал, что кирпичник не отдаст ему дочку, думал, что лучше ее забыть. Но он чувствовал со страхом, что сделать это не в силах, и сокрушенно повторял про себя: "Эх, вот как засела! Клещами не вырвешь". Для нее бросил он бродяжническую жизнь, для нее жил, а когда играл на органе и думал, что она слушает, то играл еще лучше.

Она же, полюбив сначала его за "ловкость" в музыке, полюбила потом и его самого. И стал ей тот пан Клень милее всех, хотя лицо у него было странное, темное, взгляд как будто незрячий, и одет он был в кургузый сюртук и совсем куций полушубок, и ноги у него были длинные и тонкие, как у аиста.

Но папаша кирпичник, у которого чаще всего в карманах тоже ветер свистел, не отдавал Ольку за Кленя. "На девушку, - говорил он, - все заглядываются, зачем она станет связывать свою судьбу с таким вот Кленем?" И кирпичник неохотно пускал его в свой дом, а то и вовсе не пускал. Но когда старый Мельницкий умер, все сразу изменилось. Клень, подписав контракт с каноником, тут же отправился к кирпичнику. "Я ничего тебе пока не обещаю, сказал кирпичник. - Но, конечно, органист - не бродяга!" И он пригласил Кленя в комнату, принял его как гостя и угостил араком. Когда же пришла Олька, они все вместе радовались, что Клень стал паном, что у него будет дом, сад и что он станет самой важной особой в Поникле после каноника.

Клень просидел у них с полудня до вечера; и он и Олька были безмерно счастливы И вот теперь он возвращался в Пониклу вечерней зарей по скрипучему снегу. Мороз становился все крепче, но Клень его не замечал, а только прибавлял шагу и думал о сегодняшнем дне, об Ольке... И ему было тепло. Просто не было в его жизни дня, счастливее этого! По пустынной, безлесной дороге, среди холодных, заснеженных лугов, отливавших под вечер голубым и красным, он нес свою радость, как

зажженный фонарь, который светил ему во мраке. Клень снова и снова вспоминал все, что с ним произошло: и разговор с каноником, и подписание контракта, и каждое слово кровельщика и панны Ольки. Когда они на минуту остались одни, она сказала ему: "Мне все равно Я и без того за вами, пан Антон, хоть за море пошла бы, но для отца так лучше". При этих словах он, благодарный и смущенный, поцеловал ее локоть и сказал: "Боже, вознагради Ольку. Во веки веков, аминь". И вот, когда он вспомнил это теперь, ему стало стыдно, что он поцеловал ее в локоть и так мало ей сказал, потому что он чувствовал, что, если бы кирпичник позволил, она действительно пошла бы за ним на край света. Такая славная девушка! И сейчас вот она, если бы пришлось, пошла бы рядом с ним по этой пустынной дороге, среди снегов. "Золото ты мое! - подумал пан Клень. - Коли так, будешь же ты госпожой". И он пошел еще быстрее, так что снег еще громче заскрипел у него под ногами. Но вскоре он опять начал думать: "Такая девушка никогда не обманет". Чувство глубокой благодарности охватило его. Если бы Олька сейчас была с ним, уж теперь он не выдержал бы: кинул бы свой гобой на землю и что есть мочи прижал бы ее к груди. Надо было ему поступить так и час назад, но уж это всегда так бывает: когда кто хочет что-нибудь сделать или сказать от души, "то человек глупеет, и язык у него не поворачивается". Легче на органе играть!

Между тем золотисто-красная полоса, до той поры сиявшая на закате, постепенно превратилась в золотую ленту, затем в золотой шнур и, наконец, совсем погасла. Стемнело, и звезды засверкали на небе, глядя на землю сухо и колюче, как обычно бывает зимой. Мороз все крепчал и начинал щипать уши будущего органиста Пониклы. Отлично зная дорогу, пан Клень решил идти напрямик, лугами, чтобы скорей добраться до дому.

И вот его высокая, смешно торчащая фигура уже чернела на снежном просторе. Чтобы скоротать время, он решил поиграть немного, пока не окоченели пальцы, и как задумал, так и сделал. В пустынной ночи голос гобоя прозвучал странно, слабо, как будто немного испуганный этой белой печальной равниной. Звучал он тем более странно, что Клень играл самые веселые вещи. Он снова вспомнил, как после двух рюмок у кирпичника начал играть и петь, а развеселившаяся Олька вторила ему тонким голоском. Он хотел сыграть сейчас те же песни, поэтому он заиграл ту, с которой начала Олька:

Сравниай, боже, горы с долами,

Чтоб было ровнешенько.

Чтоб пришел ко мне милый мой,

Чтоб пришел ранешенько

Кирпичнику, однако, эта песня не понравилась, она показалась ему слишком "простой", и он велел им петь что-нибудь более "благородное". Тогда они запели другую, которой Олька научилась в Загребье:

Поехал пан Людвик на охоту,

Оставил дома Гелюню-красотку

Пан Людвик вернулся, играла труба,

Трубачи трубили, Гелюня спала

Эта песня больше понравилась кирпичнику. Они пели еще и еще и совсем разошлись, когда запели "Мой зеленый жбан". Панна в этой песне сначала плачет и жалобно причитает по разбитому жбану:

Мой зеленый жбан,

Его разбил мне пан!

А пан утешает ее:

Тихо, панна, не плачь же.

За жбан тебе заплатим...

Олька тянула долго, как только могла: "Мой зеленый жбан...", а затем заливалась смехом. Клень отрывал губы от гобоя и отвечал ей, как настоящий пан, очень важно:

Тише, панна, не плачь же...

И сейчас, вспоминая в ночи дневное веселье, он наигрывал "Мой зеленый жбан" и улыбался, насколько можно было улыбаться губами, дующими в гобой. Но мороз был сильный, и губы у него примерзали к мундштуку инструмента, а пальцы совсем онемели, перебирая клапаны. Вскоре он перестал играть и пошел дальше, немного запыхавшись, и лицо его окуталось паром его дыхания. Он только сейчас понял, что снег на лугах глубже, чем на проезжей дороге, и что нелегко вытаскивать из него такие длинные ноги. Кроме того, на лугу кое-где были впадины, незаметные под давно завалившим их снегом, и переходить их приходилось, увязая в снегу по колено. Клень пожалел, что сошел с дороги, потому что там ему могла бы встретиться какая-нибудь подвода до Пониклы.

Звезды мерцали все ярче, мороз становился все крепче, а пан Клень даже вспотел, так он устал. Когда же временами поднимался ветер и проносился по лугу к реке, ему становилось очень холодно. Он снова попытался играть, но, когда губы были заняты, уставал еще больше.

Его начало охватывать чувство одиночества. Кругом было так пусто, тихо и глухо, что даже странно было. В Поникле его ждал теплый дом, но он хотел думать о Заграбье и говорил себе: "Олька идет спать, но там, в комнате, слава богу, тепло". И от мысли, что Ольке светло и тепло, радовалось честное сердце пана Кленя, хотя самому ему было темно и холодно.

Луга кончились, наконец, и начались пастбища, местами поросшие можжевельником. Пан Клень был уже так измучен, что ему хотелось сесть и отдохнуть под первым попавшимся укромным кустом. Но он подумал: "Замерзну!" - и пошел дальше. К несчастью, возле можжевельниковых кустов, как и у плетней, иногда наматывает большие сугробы. Клень, миновав несколько таких сугробов, так обессилел"; что, наконец, сказал себе: "Сяду. Если не усну, то и не замерзну. А чтобы не уснуть, еще сыграю "Мой зеленый жбан".

Он сел и снова начал играть, и снова слабый голос гобоя прозвучал среди ночной тишины в снегах. Но веки Кленя слипались все больше, и звуки "Зеленого жбана"

постепенно слабели, затихали и умолкли, наконец, совсем. Однако он боролся еще со сном, сохранял еще сознание, думал еще об Ольке, но в то же время все больше чувствовал себя покинутым, одиноким, как будто забытым, и он удивился, что нет с ним Ольки в эту ночь, в этой глуши. Он начал бормотать: "Олька, где ты?" А потом позвал ее: "Олька!" И гобой выскользнул из его онемевших рук.

Наутро заря осветила Кленя. Он сидел на снегу, гобой лежал у его длинных ног. На посиневшем лице его застыло удивление, и в то же время он как будто заслушался в последний раз песенки "Мой зеленый жбан".

1893